
Иоланта Сержантова
Чистые воды бытия

Иоланта Сержантова

Чистые воды бытия

«Автор»
2024

Сержантова И. А.

Чистые воды бытия / И. А. Сержантова — «Автор», 2024

ISBN 978-5-00207-534-8

Сборник прозы составлен из рассказов, новелл и эссе. Зарисовки о природе Родины, о родных людях, ради которых совершаются добрые поступки. Умение быть благодарным тем, кто тебя вырастил, о достоинстве и памяти. Чистые воды бытия омывают берега жизни, которая сама по себе или рассказ, или новелла, или эссе.

ISBN 978-5-00207-534-8

© Сержантова И. А., 2024
© Автор, 2024

Содержание

Чужая боль 5
Снежный ангел 6
Февраль и сойка 7
Рукопожатие 8
Бабушка, моя… 10
Праздник 11
Родня 12
По душам 13
Успеешь ли ты… 15
Под цвет летних облаков 16
А покуда – февраль… 18
Всякому – своё… 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Иоланта Сержантова
Чистые воды бытия

Чужая боль

Прилипло семечко хмеля ко гладкому обветренному лбу сугроба, чудится не иначе, как золотым крылышком стрекозы[1]. А и птица ли обронила его по рассеянности или брошено в зиму обиженным на судьбу летом по злобе, на манер сдёрнутой с руки перчатки.

С чего та досада, угадать немудрено, – что кончилось лето скоро и внезапно. Да вот уж и зиме почти что конец, сочится оттепелью февраль. Роняет прозрачные чистые звуки с барабанных палочек сосулек. Последний месяц зимы, понятно, слезлив, ибо стар. Также, как у людей, когда и далёкий от дряхлости тает сердцем во всякий час.

Разлинованное намедни серыми струями дождя небо теперь чисто, но земля, неприбранная покуда солнцем, вся в кляксах луж и вымоченных, скомканных промокашках сугробов.

Ветер, растроганный отчего-то, утерявши значительную часть холодности, нянчится с лесом, терпеливо и прилежно зачёсывая набок влажные пряди его ветвей, но солнце, не умея следовать стороннему порядку, мешается и принимается хозяйничать по-своему. Но всё выходит у него как-то не слишком ловко, на диво неумело: счищая побелку снега с дерев, заодно роняет с них пушистые шарфы мха, портит, надрывая, карманы коры, а то губит и само дерево. Иному тяжко стоять в набрякших от воды одеждах, не держат ноги. Только и успевает воскликнуть сипло: «Побереги-и-ись!», а дальше уже не его забота, подневолен.

Ветер, наломавший за свою жизнь немало дров, бежит прочь, дабы не испортить насовсем, не растратить на сострадание постигшее его перед тем умиление. Но всё одно нагнал тот вопль его рассудок, и не ускользнуло от взгляда царапанье о соседние стволы цепких пальцев тонких веточек, кой ломались в лишённой сознания, последней из напрасных попыток удержаться.

Из того, что после, – пробитая до зелёной травы перина снега, и земля трепещет сильнее от нервности собственных своих недр. Впрочем, мнилось февралю, – ему куда как хуже, он всех прочих короче. Тех, которые по другую сторону календаря.

Оно и понятно. Эдак-то повсегда так – чужая боль кажется меньше, чем своя.

[1] лат. Sympetrum uniforme

Снежный ангел

– Ну, я же тебе говорил! Надо было просто по-про-сить! Раз только стукнуть по стеклу, и вся недолга. Зря ты меня останавливал, давно б уж не метались от двора ко двору, в поисках, да не мёрзли б понапрасну.

– Он что, не знает, какой теперь месяц и не выходит во двор? Или, даже если так, в окно-то выглядывает иногда!

– Судя по тому, что я понял, у него что-то стряслось и с тех пор он смотрит только внутрь себя.

– Это гадко. Он должен сознавать свою ответственность. Насыпав однажды горсть крошек на свой подоконник, он вправе не делать этого лишь в единственном случае!

– Боюсь спросить, в каком…

…Опутанный венами виноградной лозы, дом выглядел измождённым, подстать его обитателю, что, прислушиваясь к разговору птиц, плавился на адском костре совести.

– Как я мог позабыть про них?! Птахи… они ж не виноваты. Было б мне промеж стенаний и припадков самобичевания отворить окошко, да протянуть руку на просвет. Небось, не истончило б это моей скорби. – казнился он, глядя, как небо развешивает стиранные простыни снегопада.

Не шутя называя себя последними словами, он вслушивался в песнь ветра, кой крутился подле дома и сочувственно гудел. Сметая сугробы с сосен, ветер притомился и отступил, так что вскоре деревья стали похожи на сахарные головы, из уютного чрева которых раздавались чириканье воробьёв и писк синиц.

Там же, приникнув к стволам, оставались невредимы нежилые с весны гнёзда, с торчащими из них сухими веточками, на манер птичьих лап.

Ещё не рассвело, как подоконник был уже густо посыпан зерном и крошками, сахарные головы дышали через снеговые дупла, что споро смастерили синицы, а на единственной, вытянутой в сторону ветке сосны раскачивался белоснежный ангел.

Почудившись сперва рождественский украшением, чьей-то доброй проделкой, он был сотворён, как и положено, из ничего, но излучал спокойную, простую житейскую радость, заставляя сердце биться ровно.

И пускай оттепель сняла игрушку уже к следующему утру, она , всё одно – б ы л а !… добрым знаком, о котором молчат, но уповают на его поддержку, привычно сетуя на собственные рассудок и удачливость.

***

– Ну, я же тебе говорил! Надо было просто по-про-сить!

Февраль и сойка

Как не ныл и не куксился февраль, что он озяб, и тошно ему от самого себя, и причитающееся ему по чину уже истрачено загодя умолившим его дать взаймы январём, а самому жить в долг, – так он не привык, верилось лютому с трудом. Впрочем, в самом деле, у кого, позвольте, ему просить? Не у марта ж! Тому не до чего. Зима отступится, и схлынет вместе с талыми водами, а марту, покрывая, не им взятое наперёд, ответствовать за отсутствующих, сдавая в подземные кладовые вороха снежного тряпья, да слитки льда, будто серебра.

Плакался февраль, и так правдиво, что нельзя было не внять и той мольбе из очей, и гримасе страдания, и съехавшим, раскисшим на сторону от плача губам.

Не тая ухмылки или даже злорадства, по насту вдоль дороги скакала сойка, прищипывая время от времени сухую корку снега к земле, дабы не сползла, обнажив неровного края или какой нечистоты. До проходящих и проезжающих птице не было никакого дела. Давно уж сменила она детский карий глаз на небесный[2], умеет истолковать верно, от кого ждать беды. Мяукнуть когда или шумнуть навроде стука топора по полену.

Хорошего сойка не ждёт, но и не бежит, коли кто к ней по-доброму. Дозволит разглядеть поближе, попусту вредничать не станет, не в её характере.

А отчего та сойка щерится на февраль? Так от того, что пересмешница, любит она подразнить тот месяц, да не имея собственной песни, поёт с чужого голоса: то будто капает с крыши вода, то скрипят неведомо чьи шаги, а то и тянет ноту за лесом, сколь хватает дыхания.

[2] радужная оболочка глаз у птенцов и молодых соек с возрастом меняется на голубую

Рукопожатие

Волнение на море в девять баллов по шкале Бофорта[3] казалось игрой. Мы ровесники, мне тоже девять, как и ему, так чего ж переживать из-за пустяков. Хотя, кроме капитана судёнышка, его помощника и меня самого, все, включая команду, позеленели с лица под цвет волн и жестоко страдали от качки.

Капитан верной рукой вёл судно по курсу, стараясь, чтобы его не развернуло бортом к волнам, гребни которых плевались солёной пеной с досады, мешая разглядеть тех, что торопились обрушиться следом. Помощник капитана разносил болезным бумажные пакеты, и с удивлением, даже с восторгом поглядывая в мою сторону. «Мудьюг», так называлось судно, вышел из порта Кеми и направлялся в сторону Большого Соловецкого острова почти что в штиль. Но Белое море умеет спутать карты не только тем, которым не нужны карты или лоция, а даже тем, которые умеют найти верную дорогу к берегу по звёздам, по памяти и тому чувству воды, без коего моряк не моряк, а так, сухопутная крыса.

Тем летом солнце поджигало одним только взглядом всё, на что обращало внимание, так что нам не сразу позволили взойти не только на борт «Мудьюга», но даже в порт. В ожидании разрешения переправиться с большой земли на архипелаг, мы целую неделю или немногим дольше, глубоко и коротко спали на скамейках вокзала Кеми, под грохот составов, что толкали друг друга, проверяя надёжность сцепки… Бывало, очередной откинувшийся зек присаживался в ногах без особых церемоний, чем вынуждал принять вертикальное положение. Деликатно кашляя в кулак, он принимался откровенничать, тянулся тронуть собеседника за лицо той же влажной от кашля ладонью, так что приходилось подниматься, и, стыдясь опасения заразиться от него туберкулёзом, придумывать повод, дабы отойти.

И вот, после этого всего, было бы обидно так запросто дать смыть себя волне с палубы в холодную воду.

На всякий случай наша команда облачилась в гидрокостюмы. Моего размера не было, но вместо того, чтобы беспокоится о таком пустяке, я дерзко глядел морю в глаза, и, сохраняя внутреннее равновесие, переводил взгляд в противоположную крену сторону.

Когда мы, наконец, зашли в укрытую от ветра бухту и пристали к берегу, мне единственному капитан пожал руку, и … я сохранил его, это рукопожатие. Оно оказалось весомее много из того, что произошло после.

В тумане прошлого затерялся переход с Большого Соловецкого на Большой Заяцкий, необитаемый остров, где не было, кроме нас никого, даже туристов, что спят, выставив на съедение комарам пятки из палаток. Неоткуда было взяться там и зеку с его неизменным покашливанием.

Из смазанного той же влажной мглой, – возвращение на Большой Соловецкий остров, а из того, что там, помнится только, как изо дня в день к нам в келью приходил человек, и уговаривал помочь ему, спасти, выручить… Лишь только он поднимался по лестнице, минуя первый разрушенный этаж с надкусанными временем, пожёванными сыростью, проваленными

[3] высота волн 7-10 метров

половицами, амбре выкуренного им прежде табака уже ломилось в дверь кельи вперёд него самого.

– Да поймите вы… – возражал твёрдо, но деликатно безотказный, в общем, руководитель нашей группы, – Это опасно! Мне жаль ребят, сгорят ни за что.

– Мы хорошо заплатим! И в титрах укажем, пофамильно! Там и делать ничего не надо, всего-то – подстраховать под водой, чтобы не утонули.

– И на что потом будут ваши деньги? На похоронить?! Я отвечаю за жизнь людей. Так нельзя. – наотрез отказывался «шеф», после чего визитёр, скрипя кожанкой, будто зубами, уходил. Впрочем, ненадолго. Даже не до следующего съёмочного дня.

Позже я узнал, кто был этот человек. Режиссёр, Владимир Авраамович Роговой, награждённый в сорок четвёртом медалью «За боевые заслуги». Он снимал на Соловках фильм «Юнга Северного флота». По сценарию, краснофлотцы должны были прыгать с макета носа корабля в горящую воду.

Для этого огороженная часть акватории наполовину искусственного, наполовину природного Святого озера у стен Соловецкого кремля была залита керосином и подожжена. За огнём до неба и чёрным дымом было не видно небес, но запал в душу не этот, минувший кинокартину момент, но рукопожатие капитана «Мудьюга», и то, как на прощание он приложил руку к форменной фуражке, в мою честь.

И пусть кто-то скажет, что всё было иначе, в моём сердце прошлое живёт именно таким. Ибо всякое, во что веришь, обретает черты истины, правды, от того-то в воспоминаниях неизменно присутствует доля лукавства, – искреннего, честного неприятия себя таким, каковым ты кажешься другим со стороны.

Бабушка, моя…

Родители, братья, бабушка, дед, – всё это лица нашей Родины, без которых не было бы нас. Вне этого круга, вне их близости и заботы, мы не стали бы собой. Семья, Родина и её природа, это – данность, к которой нельзя свысока и небрежно Обращаться с ними следует бережно, с уважением к их судьбе и жизни больше, чем к своей собственной.

– Ба! Бабуль!

Как славно, когда есть кому отозваться на этот призыв.

Не знаю, была ли бабушка азартной или нет, но каждый месяц со своей крошечной пенсии она покупала один лотерейный билет. Я помню, как мы, отправляясь с нею по магазинам, сперва заходили в сберкассу, где бабушка становилась в очередь, а мне выпадало удовольствие «поиграть во взрослого».

Выудив из коробочки на угловой конторке несколько бланков, я отыскивал стол с чернильницей, полной чернил, и обмакивая в неё перо, скрипел им по бумаге с упоением. Иногда кончик пера разъезжался от усердия, как ноги в коньках на льду, и тогда, пачкая руки, я торопливо чинил пёрышко, сжимая его через бланк, отчего тот рвался и покрывался кляксами.

От родных я знал, что бабушка когда-то была учителем, заведующей школой, и начала свой трудовой педагогический путь в четырнадцать лет. К ученикам она, говорили, была строга и требовательна, я же, хотя никогда ничего такого в отношении себя не замечал, от непорядка, устроенного в сберкассе, всегда спешил поскорее избавиться.

Так что к тому моменту, как бабушке возвращали серую книжицу с отметкой «на сколько порций мороженого хватит», подле меня было почти убрано, даже кляксы на полу. Не думаю, что бабушка наивно верила в то, что оставленный один на один с чернилами и пером, я не шалю и не вывожусь, «как чертёнок», но бранить не бранила, ни разу.

– Идём? – спрашивал я бабушку, но она просила ещё чуточку обождать, и шла к стене с таблицей выигрышных номеров очередной лотереи, где щурилась через очки, отыскивая заветный номер.

И отчего я не догадался спросить – на что он ей, этот выигрыш, чего и сколько ожидает заполучить. Ведь казалось, что бабушке ничего не нужно, всё у неё есть. Кроме, пожалуй, одного, – «лишь бы не было войны», а такого в лотерею, пожалуй, не выиграть…

Четверть века спустя, вместе со своими учениками я ремонтировал обшарпанное до обрешётки под штукатуркой, бывшее помещение сберкассы. Мы обустраивали там парашютный клуб, в котором я был инструктором. Так случилось, – я не сразу понял, что это та самая сберкасса, но узнал и то место, где стояла конторка с бланками, и чернильное пятно на полу, что мне не удалось оттереть однажды, в ту самую пору, когда я «играл во взрослого» под пристальным, но лукавым, в лучиках морщин, взглядом из очереди бабушки, моей.

Праздник

Солнце отёрло пыльное от инея зеркало пруда и заглянуло в него, дабы поправить седые свои извечно влажные букли, что прочим мнятся облаками. И… не показалось нынче себе солнце. То ли в самом деле, то ли по причине недовольства собой, но оно нашло себя не в меру бледным. По нездоровью, либо потому, что по всю зиму отсиживалось взаперти, обложившись серым ватным одеялом мглы, – тут уж без разницы. Итожец был, как говорится, не лицеприятный, налицо.

Дунул ветер понизу, запылил вновь заледенелый пруд снегом, дабы солнышко не пужалось собственного своего лика, да и говорит:

– А и чего б тебе, светило, было не выйти, прогуляться? Почитай, всю зиму сиднем на печи сиживало, сверчков слушало, взаперти с боку на бок оборачивалось. Перины твои, не иначе, свалялись, боками окучены, простыни закручены, покрывала всклокочены, подушки намочены. да не по болезни, что от непосильных напруг с трудами, а по дурости, причинённой леностию с безделием.

– Ух, как ты жестоко рассудил меня, ветерок… – закручинилось солнышко. – Обидно, слов нет, да на правду-то, чай, обижаться – глупым быть. Пожалуй, что прав ты, пора мне вставать, хватит бока отлёживать, думками праздными тешиться. Пришло время и других потешить, и самому развеяться.

Ну, что тут сказать? Как обещало солнышко, так и сделало, да с того самого дня принялось звенеть-позванивать ксилофоном сосулек на рассвете. А после, до самого обеда, завели они моду играть на пару с морозом. Натянет тетиву ветки мороз, даст солнцу приладиться хорошенько, нацелиться в никуда, да так уж стрельнет оно, не приглядываясь, куда полетела стрела. Ибо так хорош звук тетивы, опроставшейся от тягости струны, – гулко, смачно, на весь, понимаешь, лес.

А что то был за день, нам ведомо, нами знаемо , – Ефрем-ветродуй, запечник, защитник сверчков. Православные в десятый день февраля чтут память преподобного Ефрема Сирина, а, дабы не потратить напрасно жизни, заодно уж справляют именины домового. Молока в миску подле печки льют, кренделями сладкими Хозяина[4] потчуют. Всё честь по чести – как-никак, праздник.

[4] Домового так кличут

Родня

В искусной, причудливой посудине берегов, под глазурью наста – толстый слой мятной, с перчинкой, карамели льда, а ближе ко дну – не застывшее желе реки с едва ли не замершими в приветственном взмахе лентами водорослей, больше похожими на коричные палочки, пролежавшие в кофе дольше положенного. Кивают они вослед известному сыздавна течению скорее по привычке, нежели по очевидности его. Сутулая, сдержанная грузом ледостава, призрачная его спина, будто наваждение: она есть, а вроде бы и нет её. Верная во всегдашней своей торопливости, определённо оставляет после себя лишь ощущение потери, и ничего больше.

Где-то на середине реки, мороз наскоро рубцует рану проруби. Рыбы, имея ту округлость в виду, ни за что не спутают её правильные формы с солнцем, либо луной, что обыкновенно задают тон их бытия, взывая к пробуждению, либо склоняя ко сну.

Ледок в том месте тонок, прозрачен и непрочен. Через круглое скользкое окошко недавней лунки видно исписанное бесхребетными, беззубыми, но велеречивыми и многословными ракушками дно, а вместе с ним – занесённый песком бредень, обронённый по осени. Его бы прямо теперь и добыть из-под воды, – к весне-то вовсе скроет песком, либо снесёт ниже по течению, в объятия первой же коряги. Да только неохота, потому как озябнешь, поди, на морозе, обмочив по локоть руки в ледяной воде. А застудишься, пропустишь, как весна делает первые робкие шаги, из-за которых терпишь, не замечая нарочно, хмарь поздней осени, и зиму, – в той её долгой части, куда не дотягиваются праздники. Там и снега по пояс, и надсада от колки непросохших ещё, душных, дымных поленьев, и, покуда натаскаешь воды из колодца, прольёшь лишку на ноги не раз.

– Гляди-ка, что за птица?

– Так снегирь!

– А чего не с красной грудкой?

– То у мальчишЕй, а это, вишь, дЕвица.

– Так нет же! У тех девиц, чьи кавалеры в красной рубахе, оно не так!

– И вправду… Как же это?! Неужто к нам сам серый снегирь[5] пожаловали! Надо же… Из самой Сибири, а то с Дальнего Востока… Каким ветром?! Как?!

– То-то и оно! Но по-любому, красивая птица. Серый снегирь со светлой душой.

– Отчего знаешь?

– Ещё наши предки верили, что снегири выводят заплутавших в лесной чаще к жилью или дороге, а в Библии писано, как именно он, отважно и сострадательно, обламывал шипы с тернового венца Иисуса.

– Так то, вроде, про красногрудого.

– Какая печаль? Всё одно – родня.

…Под заснеженным серпантином берегов таилась река, чьё устремление к морю, как к чему-то большему, не могли задержать никакие льды, пусть даже те, пропахшие мятой, что растёт с весны до осени у самой воды.

[5] лат. Pyrrhula pyrrhula cineracea

По душам

Сколько лет я смотрю на улицу через окно? Два года или больше? Было б мне погулять хотя на балконе, но в коляске не переехать того порожка. И что остаётся? Сидеть сиднем, да болтать иногда ногами, дабы вовсе не затекли, ну и думать о своём, о прошлом, о жизни.

Время скрипит дверью вечности, оставляя за нею всё, что было дорого, всё, что было. Стрелки часов частят: «Так-так-так…» Они будто бы метроном бытия, не дают задержаться подольше там, где мило, не соглашаются замедлить ритм, и нет толку умолять обождать, сбавить обороты, сместив грузик на маятнике повыше… О т с р о ч и т ь !!! Как бы не так.

1969 – 1975 годы. Страна подводила итоги восьмой, «золотой» пятилетки, полным ходом шло освоение девятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, возводились тысячи предприятий, Байкало-Амурская магистраль, Красноярская ГЭС. Я же в ту прекрасную пору работала на швейной фабрике, вносила посильный вклад в благополучие Родины, а заодно строила и своё личное счастье, которое, к сожалению, продлилось чуть меньше пятилетки. Семейная жизнь закруглилась вовсе не по моей вине, не по причине склочности характера или некой пагубной страсти. Впрочем, каков бы ни был повод расставания с супругом, при подведении «итогов», я осталась одна, тридцатилетней разведёнкой с дочерью на руках.

Любому производству нужны и удобны не обременённые семьёй работники, а посему руководство фабрики взяло меня в оборот, посылая в командировки по служебным делам, так что вскоре я объездила всю Сибирь и Дальний Восток, случилось побывать на Байкале, в Иркутске, в Улан-Удэ. Названий всех населённых пунктов не перечесть, а иных уж и не припомнить, но в одну из таких поездок мы оказались в селе Бичура. Это, на первый взгляд неприметательное место, посетил в своё время адьюнкт Российской Академии наук Паллас[6], чья фамилия навечно вписана в зоологические таксоны описанных им видов животных.

На самой швейной фабрике не было ничего необычного, но то, что произошло в воскресный день запомнилось на всю жизнь. Нас поселили в общежитие, и выглянув утром в окошко я изумилась тому, что по дощатым улицам взад-вперёд ходят необычно одетые женщины, те же самые, что в синих халатах и косынках трудились на фабрике. Вместо невзрачной рабочей одежды, теперь на них были красные юбки и жилетки, поверх – расшитые яркие фартуки. На голове кичка – ловко повязанный платок с торчащими на стороны тряпичными рожками и шишкой узла на лбу, а на груди – звенит при шаге монисто, бусы из монеток в пять рядов. И в магазин в эдаком наряде, и просто так, ради воскресного праздничного дня.

Позже мне растолковали, что бОльшая часть жителей этого старинного, основанного в 1723 году села старообрядцы. Есть и православные, и буддисты, но тех – большинство.

Они хорошие люди, честные, трудолюбивые, но как бы сами в себе, живут замкнуто, в гости не зовут, а ежели кому и вынесут испить водицы, так той посудой побрезгают, выбросят после.

[6] Пётр Симон Паллас (нем. Peter Simon Pállas(22 сентября 1741, Берлин – 8 сентября 1811, там же) – немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе (1767—1810);

Помню ещё, было дело в Кемерово зашли с начальницей в кафе покушать, а там одни мужчины. Заказали, ждём, а тут официант, говорит, мол, вам с того столика графин пива попросили передать. Потом уж те, которые угостили, подсели к нам. Вежливые мужчины, шахтёры. Чистые, приятные, весёлые, а под ногтями угольная пыль и вокруг глаз обведено тонкой чёрной линией.

… Да… Байкал, Улан-Удэ, Дальний Восток, Кемерово, Бичура… Поездила я на своём веку, повидала всякого. А теперь что? – от кровати до кухни и обратно, да и то не своими ногами, верхом на коляске. Помощница приходит дважды в неделю, но и она тоже немолода, не дотолкает коляску через порожек до балкона. Не от хорошей жизни ходит за мной, старухой. И хотя она давно уж не вытирала пыль со шкафов, – пускай. Ведь и пол протрёт, и продуктов принесёт, и приготовит… Лишь бы приходила. Всё – живой человек, есть с кем поговорить. По душам.

Успеешь ли ты…

Время… Обвиняя в наших потерях, мы наделяем его безмерной важностию, хотя, коли по чести, оно само подневольно, и если изловчится когда обойти кого стороной, не спросясь, – делает это. Хотя и неуверенно, пугаясь собственной решимости, но д е л а е т !!!

И тут уж отыщется некто, который посетует, осудит, кивнёт в его сторону, да спишет все собственные огрехи на его счёт. Время же, что в иной час тает, как некогда обращается в воду сугроб под пристальным взглядом солнца, для кого-то теперь замирает на месте неспроста или тянется, противу обыкновению, непростительно долго.

Да не из шалости оно идёт себе самому наперекор! Не без причин та отсрочка, не для нервной, пустой горячки ожидания, но для раздумий о верности того, во что поверилось вроде бы ни с чего. Чревато минутное очарование, кому, как не времени ведомо то. ВедОмые опасны, вредны себе и причина несчастий для имеющих их в виду. Неспроста, но без корысти, лишь по причине истинных к ним чувств.

Из напраслин, возводимых на время, одна лишь верна – непреклонность. Неумолимость его конечности для любого из… Ох, как бесспорна, как очевидна она. Только никому не обвинить время в равнодушии, и что пойдёт оно дальше, не обернувшись ни разу, и не уличить в намерении причинить беду небытия. Не может быть того, чтобы так запросто вершило оно приговор.

Время лишь тем и живо, что побуждает избежать забытья, исчерпав в себе несчастье зла, да переполниться добром любви ко всему, ко всем, не позабыв при том и про самоё себя, что только кажется просто. Та неприязнь – помеха разглядеть прежде человека в себе, нежели в иных.

И всё же… В мгновения, когда время пропускает вперёд, а само присаживается на скамью вроде бы как передохнуть, сгибаясь, смотрит в пол, да машет тебе идти дальше одному, без него, делается тихо и светло.

Оглушённый этой тишиной, наблюдаешь за тем, как замирает зыбкое марево прочего мира, так что можно понять, узрев, не то подробности, но загодя побуждения, а с ними и несостоявшееся, зряшное отчаяние, пустота выстраданной многими усилиями надуманной радости. И она оказывается не той, не тем, ради чего стоит отстраниться от мира в сердце.

Вне времени ты один на один с собой. Непостоянство, затерявшись в вечности, лишает суетность той, некогда сочинённой для неё важности. И… что тогда? Которое кроме?

Время… Оно стоит подле каждого из нас с секундомером, и ждёт нажать кнопку, и глянув на циферблат, оценить: уложился ли ты в отпущенное или сделал чуть больше, меньше, чем мог. Но услышишь ли ты? Успеешь узнать про то?..

Время… Оно в тебе самом.

Под цвет летних облаков

Я помню, как его зовут, но не скажу никому…
Автор

Он был похож на ангела. Но не того его воплощения, с нимбом над льняными кудрями и крыльями за спиной, что выписан не раз кистями гениев. В тех удел выдавали глаза, у этого взгляд бледно-голубых, до прозрачности, очей был дерзок. Он взывал к жизни, вызывая её на разговор не по рыцарски, не на поединок, а «за угол» или попросту: «ну-ка, давай выйдем».

По этой причине жизнь мотала его по камерам, зонам и этапам, не в отместку, но в назидание. «Учила» обращаться с собой. Но сей диковатый ангел с пыльными, синими от наколок руками, так и не сумел приноровиться держать лук, а заместо стрел хранил в одном из карманов пиджака свинчатку и нож-бабочку, а в другом – коробку дешёвых крепких папирос и спички, кои ловко возжигал одной рукой, щелчком большого пальца, по-босяцки. То умение было предметом его особой гордости, отличавшее от сверстников, прозябавших за школьной партой, покуда он чалился по малолетке в женской колонии.

Помню, вызвал он меня как-то раз с уроков, пригрозив учителю из-под полы топором. Не желая рушить авторитет педагога, я вышел с парнем из школы, довёл до ближайшего сквера, и усадив на скамью, спросил:
– Ты же нормальный, хороший! Кто так сильно обидел тебя, скажи?

Он сощурился, скрывая внезапные детские слёзы, и выдохнул:
– Поговори со мной. Пожалуйста…

И, присев рядом, я начал рассказывать ему, чем занят, что читаю, о чём думаю. Дошло до того, что я прочёл ему несколько, довольно много! – из раннего нелюбимого Пушкина и раннего, весьма сомнительного себя, а он всё слушал и слушал, скорее внимал.

Уж день состарился, и пролетела ночь, а мы всё ещё сидели на скамье под отцветшим к рассвету фонарем. Мои родители видели нас через кухонное окошко, но домой не позвали, оценив важность момента.

Когда утро дало нам разглядеть наши бледные лица, я выдохся и замолчал, но тут пришёл его черёд заговорить:

– Знаешь, за это время я не услышал от тебя ни единого матерного слова, а я живу, с теми… с такими, которые не умеют выразить мысль, чтобы не выругаться. – махнул рукой он. – Я так не хочу, мне тяжело с ними, но если я не буду, как они, меня не поймут. Ты говоришь, что я хороший, но те… Они засмеют, будут считать слабаком. Ты не такой. С тобой стыдно, с тобой – нельзя. Если хочешь, – неожиданно, с горячностью человека, которому нечего уже терять, предложил он, – я убью любого, кто посмеет ругаться при тебе. Мне уже всё равно. Хочешь?!
– Не хочу… – растерялся я от его неподдельного напора.

– Можно, ты будешь иногда разговаривать со мной? – попросил он вдруг.

– О чём речь! – попытался обнять его я в ответ, но он отстранился, и, приподнявшись со скамейки, попрощался, вежливо склонив голову. Он видел, как делают точно также в какой-то кинокартине.

…Не всякий ангел кудряв, но у каждого под пиджаком с затёртыми локтями спрятаны белые… жемчужные! крылья. Под цвет летних облаков.

А покуда – февраль…

Среди пернатых оживление. Февраль решил натопить баньку, для чего и призвал в помощники солнце, дабы натаскало оно воды. Запарилось светило, жидит сугробы, плавит, а оне всё мимо текут. В овраги вода-то хотя набирается, да по канавам по-змеиному ускользает, оттуда на путь-дорогу, что стоит-постаивает, пузыриться квашнёю до вечера, а там уж, незамечена, под пухлым прищуром месяца делается холодна, густа, сомнительна от того, что не удержаться на ней.

Мороз этот ночами, понятно, не пущает дальше. «Т-пру! Стой! Не велено!» – осаживает он водицу, отчего та замирает, прижав прозрачные холодные уши… Ну, а утро опять за своё, вынуждает солнышко засучить рукава. И так уж оно старается, – тонки горячи рученьки мочит, серы сугробы мнёт, сок снежный добывает, наполняет овражки доверху, канавки по колено, дорожки – так только, прикрыть камешки, сор смыть, да сравнять колею с обочиной, ибо тяжко проезжающим, а пешим и того плоше.

Для синиц то времечко в радость, у них, синиц, банный день, а то – неделя. Выбирает каждая птица по ледяной купели, так, чтобы поглубже, да с пологим рыхлым бережком. И, – ну с разбегу в водицу. Хоть и холодна она, да мягка. И уж плещется синичка до мокрых пёрышек, а как смоет с себя последнюю соринку, слабнет от удовольствия. Сядет на веточку, что пониже и поближе, отжимает одежонку досуха, а после машет крыльями быстро, согревается ещё скорее.

Улыбается лес синице, будто его самого щекочет вода промеж пальцев корней, смеётся над сойкой, что глядя на синичку, шустрит, летку-еньку на шпалах пляшет, но следовать её примеру не торопится. Сойке мочить перья не к спеху, весны с летом ждёт, и уж тогда… А покуда – февраль.

О.П Беляево 1848 – 2024

На исходе первой половины девятнадцатого века, в приличном отдалении от больших и малых городов, посреди леса вырос, будто гриб на поляне, полустанок. Неподалёку от него некогда существовал монашеский скит, но от него осталась лишь тяжеленная гранитная плита, по которой и ровняли при строительстве насыпь. Борозда рельс Николаевской железной дороги поделила полустанок надвое, и не было в том никакого злого умысла. «Так повелось», – говорят про такое старики, а за ними и их внуки с правнуками, – в память о дедах, да в подтверждение незыблемости многих в этом мире вещей. Причину обычая – селиться по обе стороны чего-либо, – то ли оврага, то ли реки, то ли дороги, – угадать немудрено: люди повсегда жмутся друг к дружке, в тот же час храня каждый свой покой. Хозяйствуют, имея друг друга в виду, на случай вспомоществования, либо горя, что совместно легче снести, или для поры неких радостей, кои во много раз сильнее, ярче, коль их пламя раздувает сопереживание соседей со сродниками, а то и проходящих мимо посторонних со странниками.

Отцы семейств, что служили на железной дороге кто стрелочником, кто рабочим, кто обходчиком, раньше ходили на работу помногу вёрст из ближайших деревень, либо теснились в бараках, навещая семьи только по праздникам. Теперь же им не приходилось жить в тоске и беспокойстве по домашним, появилась возможность быть с ними рядом, видеть , как растут дети, какой нежностью сияют глаза жён им навстречу. Ребятишки крутились подле родителей, а жёны, – которые трудились бок о бок с мужьями, а которые поджидали дома с крынкой тёплого молока, горячей в печи картохой и хлебом.

Подле домов вскорости распахали под огороды землю, крутобокие коровы паслись на берегах речки, что промыла себе путь от посёлка Московка до реки Воронеж и не могла обойти эти места, домашние свиньи прогуливались с местными кабанами в ближайшей дубраве, а после поросились помногу и водили поросят подъесть румяной падалицы… И чего тут только не росло! Арбузы и те подводами возили на продажу, не то обычный овощ!

Из тех времён до настоящего, на исходе девятого колена[7] на полустанке осталось людей меньше двух десятков. Летом наезжают дачники из пра-пра-правнуков, а вот живности, кроме котов и трёх собак уже нет никакой. Последний курятник опустел из-за лиса, что не спросясь зачастил в гости.

Днями здесь тихо. По вечерам ещё тише. В ночи окликают друг друга филины. Впрочем, свет в окнах даёт надежду на то, что люди, живущие на земле своих предков, пересидят тех, чиновных, которые глядят на них с презрением из окон кабинетов, и принуждают бросить всё, уехать, оставить на съедение времени и разрухе свои дома.

Но ведь нехорошо эдак-то, неправильно. Сей полустанок – тоже Родина, та малая её часть, тот ручей, что питает реки больших городов.

***

По запертому на замок чердаку кто-то ходит, топая громче громкого.

– Хозяин[8]… – щерится старик к потолку.

– Ага, ага! – кивает головой супруга и тянется налить в миску драгоценного, привезённого из города голубоватого молока. – Жаль, не своё. – грустит она.

– Жаль. – соглашается с женой старик, и прислушиваясь к звуку проезжающего поезда, добавляет, – Московский. Как по часам.

[7] колено – поколение

[8] Домовой

Всякому – своё…

Бьёт февраль колотушкой мороза. Полагает, что «от сих» и до самого горизонта, а выходит, что по деревам. Замахнулся было от плеча, с размаху, да вовремя одумался, ходит теперь, бурчит нечто под нос и стукает полегоньку, нежно почти. Знать, усовестился. С ними, с деревьями, теперь нельзя абы как, надобно бережно, дабы дотерпели стволы до весны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.